

1. НАЧАЛО

Поступить в Литературный институт меня сподвиг муж, когда понял, что мое литературное творчество не угасло ни с рождением ребенка, ни с окончанием архитектурного института. «Творчество должно быть профессиональным», — сказал он мне и дал адрес и условия приема в институт. Ни в какой литературной среде я не обреталась, вокруг были художники и архитекторы, свои опыты никому, кроме мужа, не показывала. Меня взял на прозу Евдокимов, ему понравились мои короткие рассказы. Я сдала экзамены, пришла на собеседование и... провалилась с треском. Хватило ума вступить в искусствоведческий спор с Сидоровым, тогдашним ректором. Мне было сказано, что раз я изучала историю искусств на архитектуре, мне нечего делать в Литинституте. Это был удар. У меня накопилось много задумок, были интересные идеи, литература изначально зрела во мне не как выражение своих собственных переживаний, томлений и т.д., меня интересовал героический эпос, классика тоже в этом разрезе, я почему-то рано осознала, что мне дан голос до меня немого рода, я должна многое сказать и не о себе. Это было странное чувство. Я решила поступать снова. На второй год я прошла на поэзию и драму. Зоя Михайловна, бессменный куратор всех

поступающих, очень вдумчивый историк, удивительный человек, когда мне надо было выбирать, сказала: «Вам чрезвычайно повезло, вас взял в семинар сам Кузнецов». Современной поэзией я не интересовалась, вовсе ее не знала, поэтому робко переспросила: «Какой Кузнецов?» — «Юрий Поликарпович», — жестко ответила она. Отчество спасло. Обнаружив в библиотеке целый ряд поэтов Кузнецовых, я по отчеству нашла нужного, открыла наугад и сразу:

Противу Москвы и славянских кровей
На полную грудь рокотал Челубей,
Носясь среди мрака.
И так заливался: «Мне равного нет!»
«Прости меня, Боже! — сказал Пересвет, —
Он брешет, собака!»

Вот тут я и поняла, как волшебным, как чрезвычайно мне повезло и какое счастье, что я не поступила в первый раз. Надо ли рассказывать, как я сдавала, как готовилась, как боялась собеседования. Но вместо Сидорова ректором стал Сергей Николаевич Есин, все стало по-другому, более демократично, проще в общении, здесь интересовались твоим творчеством, а не прошлым. На собеседовании после пары дежурных вопросов, зачитывая мою биографию, секретарь развеселилась: «У нас были кандидаты технических наук, даже филологических, но кандидата в мастера спорта еще не было». — «Гимнастика?» — оглядев меня, предположила одна из присутствующих дам. «Теннис». — «Тем лучше!» — почему-то определила она. Собеседование окончилось. Я поступила.

2. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

1 сентября я приехала за полчаса до начала торжественной линейки, где ректор и деканы факультетов должны были благословить нас на учебу. Мне не терпелось увидеть Кузнецова, с библиотечным томиком его стихов я не расставалась, там на фотографии он чуть насмешливо улыбался, я надеялась, что узнаю его сразу — и не узнала. Позже он признался, что эту фотографию не любит. А тогда вслед за Есиным после торжественного мероприятия к нам в аудиторию, где должен был проходить наш первый семинар, вошел высокий, широкоплечий человек, в голубой рубашке с закатанными рукавами, с усталым спокойным лицом. Есин представил его и велел нам написать небольшое эссе на заданную тему. Все стали писать. Кузнецов, скучая, глядел в окно, выходил покурить. Оказалось, задание это было важно для Сергея Николаевича, он взял семинар прозы и хотел посмотреть способности других творческих семинаров, наверное, сравнивая со своим. В обеденный перерыв в столовой ко мне подошла Галина Ивановна Седых, декан кафедры творчества, со словами: «Дайте посмотреть на человека, которому Кузнецов поставил 4 по творчеству». — «Неужели у всех других пятерки», — подумала я. Оказалось, Кузнецов просматривал все подборки, присланные на конкурс, откладывая тонкую стопку с тройкой, тех, кого он брал к себе. И другую — большую, которых не брал. Также он потом будет сортировать принесенные для печати в «Нашем современнике» стихи: тонюсенькую — себе, большую часть — обратно. А четверку мне поставил не за выдающиеся способности, а за единственную строку, которая его чем-то поразила: «Дай мне, Боже, равного по вере!». Но тогда я этого еще не знала.

Начался семинар. Судя по вступительным подборкам, было много книжных поэтов. Он приводил на память некоторые строки из подборок разных студентов, объясняя: «Мало самодостаточности. Бумажная культура. Культура и псевдокультура. Опасность гладкописи. Блок: «Я слишком умею писать». Так Эрстов пи-



Юрий Поликарпович Кузнецов

шет: «Жизнь прекраснее стихов», — и тут же о Чехове и книжке. Книжность мешает видеть. Посылка одна, а говорит о другом. Не было задачи дать тезис, а потом опровергнуть, просто книжное зрение. Ничего от жизни, кроме слова жизнь. Стихи — это еще не поэзия. Ложное положение — всегда вторично. Роковым образом срывает рефлекс. Посмотрел на дерево, вспомнил образ из стихов». После паузы, оглядев всех пристально, делал вывод: «Надо писать свое, а не идти в затылок другому поэту, направлению стилевому, школе. Свое!» У Ширяева в стихотворении легион часто не в первоначальном смысле, автор легко с ним обращается. «Слова Евангелия надо применять очень точно по смыслу, не снижая. «Легион»

всегда относится к чертям, не владея культурой, употребляют все. Мельчится высота культуры, когда нахватанность, книжность, полукультура».

Я лихорадочно записывала, мне казалось, каждое слово столь весомо, что его обязательно надо еще раз осмыслить. А Юрий Поликарпович объяснял далее — по существу, это была лекция о разных видах и подходах к поэзии: «Бахтин писал, что за 1000 лет культуры в ней уютно. Когда первозданные поэты сказали образы, слова, легенды, новое, за ними пришли вторичные и стали обживать, интерпретировать. Новый поэт (Гюго, Данте, Шекспир, несколько человек) открывал новый мир, за ними шли колонизаторы, осваивали. Третья волна жила уже в обжитом». Еще ошибка — увлечение бытовыми подробностями. «Быт еще не бытие — узкий мир. Есть и у Блока: «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека», — узкий клочок пространства и времени. Но какая сжатость, магия и световое пятно — фонарь. Создал образ замкнутого мирка. Но он — это взгляд поэта извне, а не изнутри. Взгляд извне видит и пространство и т.д., а внутри не видно ничего. Брюсов и Блок шли от книги. Тарковский, Кушнер, Бродский — вторичность, в этом недостатки этого стилевого направления. Где книжность, всегда вторичность». Потом он рассказал о «золотом запасе слов», затронул тему Моцарта и Сальери. Сделал краткий экскурс в современную поэзию, было настолько интересно, так глубоко, что захватывало дух.

После занятий Константин Мельников, поэт из Киева, подарил каждому набор фотографий Анны Ахматовой, утверждая, что она великий поэт. «Странно, что вашим любимым поэтом является женщина и вдобавок Ахматова», — сказал Кузнецов. На вопрос Константина, как к Ахматовой относится Кузнецов, он сказал: «Так получилось, она вошла в литературу Серебряного века тем, что внесла в поэзию элементы прозы, а это не возвышение, а снижение поэзии».

На следующем семинаре он прочитал нам свою лекцию «Женственное начало в поэзии»: «Есть во Вселенной начало мужское и женское. Как пишет, как смотрит мужчина и женщина — большая разница». Начав с мифа об Андрогине, он затронул мировую поэзию, наш эпос, народные представления, русскую классику, заставив по-новому взглянуть на ставшие хрестоматийными строчки. «Слово — запретный плод. Тютчев: «мысль изреченная есть ложь». Пространство рождает звук, у Пушкина поэт — отзвук, голос — эхо, живое соединяется с призраком. Стихотворение «Эхо». Эхо ничего не творит, это бессонная нимфа, женщина. Отсюда женские знаки нашей поэзии. Тютчев о Пушкине: «Тебя, как первую любовь,

России сердце не забудет». Происходит сужение, замена матери молодой женщиной, что идет вразрез с народным воззрением. Родина — мать. Еще страннее у Блока, кровосмешение: «О, Русь моя, жена моя».

Меня это потрясло, так глубоко я не вчитывалась, даже не задумывалась об этом. Вот тебе разница мужского и женского мышления, — подумала я. Дальше пошло еще хуже, женщинам в поэзии отводилось только три пути: рукоделие, как у Ахматовой, истерия, как у Цветаевой, и подражание. Я совсем расстроилась, ни один из этих путей меня не устраивал. Исключением Кузнецов считал чилийскую поэтессу Габриэлу Мистраль. «Самое главное — женские потери. Только теряя, женщина обретает голос, пускай такой истеричный, как у Цветаевой. Женщине положено плакать. Сколько души в народных плачах и причитаниях. Вся литература русская проходит под знаком плача Ярославны». То есть опять же под женским знаком, сказала я себе, что-то тут не вязалось, явно был еще путь. В конце лекции Кузнецов объяснил, что он не может принять в гражданской поэзии Ахматовой. «Ахматова берет тему «Реквием». И убивает ее своей гигантоманией, самовлюбленностью. Фигура молчания в предисловии — кокетство, и это возле такой темы. Ее личная боль выше других:

Муж — в могиле, сын — в тюрьме,
Помолитесь обо МНЕ».

Я уехала домой с тяжелым сердцем, позднее, когда я набралась смелости разговаривать с Кузнецовым, я вернулась к этой теме. Мне не подходит ни один из перечисленных вами путей, заявила я. «Вижу, — улыбнулся Юрий Поликарпович, — но вы забыли, что есть исключения, это самое главное».

3. ЗАОЧНИКИ

Наш семинар был первым, куда Кузнецов набрал непосредственно студентов, до этого он работал с поэтами Высших литературных курсов. Разница была большой и сначала неожиданной для Юрия Поликарповича. С первых семинаров произошло стихийное разделение на готовых учиться, воспринимать, и людей, для которых поэзия была актом самолюбования, писавших сразу гениально и требовавших восторга и поклонения. Таким оказался Андрей Ширяев. Высокий, тучный, он играл роль добродушного толстяка, этакое сибарита от литературы. Выделив меня еще на собеседовании, он похвастался, что у него целый клуб почитателей его таланта, что они собираются каждую неделю, чтобы насладиться чтением его стихов. Видимо, сказанное не возымело на меня должного действия, я не упала в обморок от счастья, таких псевдогениев много было и в моем первом институте, кончали они, как правило, плохо, поэтому я не знала, чему тут радоваться и чем восхищаться. Андрей приписал это незнанию его стихов и предложил мне их продекламировать. Вежливо похвалив его, я ретировалась.

Меня обсуждали раньше, Кузнецов разнес мою подборку, так блистательно и точно определяя неловкости, пустоты, чужие блоки, что времени обижаться просто не было. Отметил он только стихотворение «Старик» и то первую его строфу. Андрей негодовал. «Что ты намерена делать?» — прямо спросил он. «Работать, исправлять». — «Исправлять написанное, своевременное, плод вдохновения?» — «Плод больно незрелый», — попыталась свести я на шутку. «Ты не понимаешь! Надо бороться, он самоутверждается за наш счет». — «Зачем ему это? Он и без нас настоящий Поэт. Я доверяю его мастерству и чутью, а отстаивать плохие стихи — глупо!» Андрей обиделся и перестал со мной здороваться. Сам он всячески демонстрировал свое неприятие методов преподавания мастерства Юрием Поликарповичем. Когда тот читал нам лекции, он переговаривался с Алексеем Мошкаррой,

заявляя во всеуслышание, что лучше обсуждать стихи друг друга, как делают на других семинарах, а не заниматься говорильней. Мне же, наоборот, лекции казались самыми важными, мусолить построчно откровенно слабые стихи было намного скучнее.

Кузнецова это удивляло, расстраивало. «Зачем они пришли сюда, если не хотят учиться», — с горечью говорил он. Этому феномену современности, отмеченному Палиевским в образе «гения без гения», Кузнецов даже посвятил отдельный семинар. Ширяев ушел к Левитанскому.

При всей чуткости, доброте, человечности в творчестве Кузнецов никогда не был снисходителен ни к возрасту, ни к полу. Творчество — дело серьезное, подлажек быть не должно. Но удивительно, после разгрома Кузнецовым подборки, хотелось работать с удесятеренной силой. Это великое педагогическое мастерство — затронуть струну в душе другого человека и добиться верного тона. Зато и радовался он успеху, может, даже больше «виновника». Когда я после нескольких провальных попыток написать стихотворение «Старик», на грани отчаянья: «Да, что ж я за дура такая бесталанная!» — в электричке вдруг проломила какую-то глухую стену в себе и выдала результат, Кузнецов перед лекцией на следующий день, прочитав его, вдруг встал и с каким-то веселым задором сказал: «А ведь может! Ну, может же!» Это было выше любых похвал. И тут же на занятии, ненавязчиво, он показал принцип работы с поэтической строкой. Он предложил студентам подобрать рифму к слову «груда» (годы, как груда камней), моя рифма ему не нравилась. Посыпалось варианты, он спокойно слушал, вдруг Миша Жаравин, замечательный вологодский прозаик, который ходил к нам «на Кузнецова», крикнул «простуда». Кузнецов восторженно, глаза загорелись, он рубленным жестом отменил все предыдущие попытки и сказал: «Верно! Остуда, только остуда».

Кузнецова надо было слушать всегда напряженно, внимательно, он мог в перерыве, перед лекцией случайно обронить одну фразу, несколько слов и волосы начинали шевелиться от присутствия чего-то вечного.

Он никогда не опаздывал, в отличие от студентов. Всегда приходил за 20 минут до занятий, иногда пил чай на кафедре. Я ехала из пригорода и приезжала всегда раньше, также рано приходила поэтесса из Казахстана Тагират Гаппаева. Мы с ней коротали время вдвоем на диване в полутемном холле. Завидев нас, Кузнецов улыбался и говорил: «Ах вы, голубки сизокрылые, уже прилетели!» Он мог удивительно улыбаться. Все вспоминают его замкнутым, мрачным, каменным, а у него была открытая, какая-то детская улыбка, лицо раскрывалось и становилось светлым, незащищенным. Улыбался он так нечасто. То, что всех поражало в его лице, была не гордость, не значимость, а постоянное напряжение мысли, глубокое проникновение во что-то неведомое окружающим. Поэтому и вид часто был у него отсутствующий, если не здоровался, просто не видел, так как зрел иное. Я наблюдала один раз в метро. Он ехал со мной в одном вагоне. Стоял, так углубившись в себя, что подростки школьники стали тыкать в него пальцами и хихикать. Кто-то случайно толкнул его. Кузнецов словно вернулся издалека и вышел из вагона.

К поэтессе Тагират Гаппаевой он относился с большим уважением. «Вы пишете слишком смело для женщины», — говорил он. «Это не поза, — объяснял он нам, — она на самом деле так чувствует, и тем хуже для ее личной жизни». Она приезжала только два раза, потом что-то случилось в семье, и мы больше ее не видели.

Из девочек в семинаре была еще Таня Бычковская, поэтесса из Донецка. С ней вышел такой казус. Я цитировала полюбившееся мне стихотворение Юрия Поликарповича «Поединок» всем и каждому и никак не ожидала Таниной реакции. На

семинаре она встала и выразила негодование тем, что Кузнецов обозвал национального татарского героя собакой. «Мой национальный герой — Пересвет, если ваш — Челубей, так напишите о нем свое стихотворение», — предложил Юрий Поликарпович. Но стихотворение не получилось. «Главное достоинство Татьяны — жест, иногда изломанный, прикосновение — это большое достоинство. Смеляков — сел в кресло Ивана Грозного, «и молния веков его пронзила». У Татьяны в стихотворении «Ворожу» есть живой жест, пусть глупый, но живой». С ней связана тема «Кошки», Таня написала о домашней кошке обычное стихотворение. Кузнецов зацепился за тему. «Существуют смысловые, символические стихи. Кошка — символ. Все имеет большой смысл, что бы ни затронул поэт. Существует мировая система символов-образов. Например, корабль, образ мира. Много написано, многое вспоминается. Надо знать, что написано. Также кошка — это мистическое животное, в Египте — божество. Древние египтяне Луну сравнивали с кошкой, глаза у кошки ночные. Человеческие глаза солнечные. Кошка видит во тьме, и Луна видит во тьме. Трансформировался кот-баюн, в сказке у Пушкина «кот ученый». Гофман от имени кота написал целое произведение не случайно. Кошка, в отличие от собаки, не просто домашнее животное — это антагонисты, у них потусторонняя мудрость, в связи с ночным видением. У Бодлера кот, у Ахматовой. У венесуэльского поэта конца XIX века «зеленый кот». Кошка — тайна, бытовое использование образа обедняет его. У Ахматовой чаще, чем у других — кошка. Мир Ахматовой замкнут — домоседка, монашенка, келья, несчастливо появляется кошка и в 1911 году, и в 1913-м: «На глаза осторожной кошки / похожи твои глаза...» и «Целый день провела у окошка...»

«У Булгакова — черный кот Бегемот, оборотень». Юрий Поликарпович загорался очень быстро, хорошо импровизировал, знал столько, что казалось, его знаниям нет предела. После этой его минилекции о кошке я написала свое стихотворение, которое почему-то понравилось Кузнецову, хотя оно меня особо не задело, попробовала как упражнение.

На семинаре был поэт из Владивостока, Кузнецов всегда интересовался, не голодает ли он, как добирается, билеты очень дорогие. Из-за материальных проблем он также смог приехать только 2 раза.

Дмитрий Константинов работал в газете в Новосибирске. Обсуждая его подборку, Кузнецов обратил внимание, что «шутка должна быть исполнена смысла, а в его стихах на острие ножа смещается к пошлости: «не растет у женщин борода» — безвкусица, так нельзя». И подводя итог, после наших высказываний: «Предмета для полного разговора стихи не представляют. Это стихи условные. Существует условие — договариваются не тратить золотой запас, а выпускать условные деньги, ассигнации. Но чтобы выпускать ассигнации, надо опираться на золотой запас. Золотой запас для условных стихов — высокая культура. Много условных поэтов, много условного у Блока, но это обеспечено золотом большой культуры».

Евгений Эрастов — поэт из Нижнего Новгорода, также имел первое высшее образование, только медицинское. К тому времени у него были публикации. Кузнецов не устраивала рассудочность и книжность Евгения, он пытался бороться с ними всеми средствами, даже шуточно советовал изменить жене, чтобы испытать настоящее бесшабашное чувство, а не только рассудок. Для него он читал нам лекцию о Моцарте и Сальери. «Если поэт сальериевского типа, то он должен укрупнять свою личность, трудно пробиваться из вторичности». На обсуждении его стихов Кузнецов говорил: «Писать умеете, на ваш счет спокоен, диплом защитите. Но прислушайтесь к сокурсникам, они ощутили неискренность. Что за неискренность? Придумываете вы свой мир, относитесь к тому типу стихотворцев, которые все пропускают через себя, к вам не подходит рубцовская формула: «О чем

писать, на то не наша воля». Вы своей волей пишете. Вы книжный поэт. Даже Блок книжный, но иной уровень, Брюсов книжный, а сравнения не выдерживает. Через себя пропускал весь мир Пастернак, эгоцентричность, свое превыше всего. Опасность — гладкописание. Блок: «Слишком умею писать». Эрастов — плоскогорье, нет обрывов, все ровно, спокойно. Как относитесь к Казанцеву? (Евгений: «Не нравится».) В журнале № 3 «Москва» за 1995 год моя рецензия на Казанцева «Человек сгорел и должен был сгореть». Он тоже плоскогорье, диалоги не понятно от чьего имени, сам в себе не определился, стал гореть. Пережевывает себя. Надо учесть его горький опыт. Тоже очень писучий, из 20 стихотворений — 1 хорошее, доверял Кожину, тот отбирал из 20 — 1. Вам больше требовательности к себе. У Шекспира пропасты и вершины, вплоть до пошлости «прекрасная мысль лежать между женских ног», в потоке не воспринимается как пошлость. Познайте себя, что вам ближе из 5 чувств, и воспитывайте это. Расширяйте регистр, это необходимо вам как книжному поэту. Вы существуете за счет ассоциаций, а не золотого запаса, обеспеченного культурой. «Разворот опечаленных крыльев» — это что такое за эпитет? «Воплощенье немого бессилья» — это что? Неточность, погрешность в образности». На другом обсуждении: «Чтобы быть поэтом, нужна трехмерность, кроме длины и ширины, должна быть высота или глубина. Без третьего измерения духовное созерцание мира и предмета невозможно. Эпоха, какова эта эпоха? Нужно проникновение, чтобы был объем, духовное созерцание. А у вас все средства книжные, интуиции авторской нет, знания плоские, стиля нет, разностильность. Блок слушал музыку революции, но обозначил ритм. Определить ритм Евгений не может, допускает общие понятия: «гордый полет анапеста». Можно по-другому, Некрасов «Рыцарь на час» — анапест рыдающий. Чтобы проникнуть в предмет, необходим эпитет, а он у Жени неточный, использует чужие блоки».

Евгений один из наших заочников смог доучиться до конца — во многом благодаря своей рассудочности и терпеливости, получил корочку, не раз пользовался для публикации стихов тем, что окончил семинар Кузнецова, сам мне об этом рассказывал. Но не вынес главного, так и не понял, у кого он учился. Прочитав его статью о Кузнецове «Одинокий волк», я поняла, что Женей руководит одно ущеленное самолюбие, настолько все мелко, ничтожно в его статье, образ Кузнецова намеренно искажен и принижен, везде полуправда или его личные домыслы.

Алексей Гладков — московский поэт-мистик. Его интересовали в стихах только мистические мотивы. На обсуждении Кузнецов говорил ему: «Отсутствует образ мышления. Поэт должен мыслить образами, а Гладков рассуждает, под-поэт, а не поэт. Все пишет путем рассуждений. Самое главное — стихи не волнуют, они умозрительны, энергичность сымитирована. «Ты свободен навсегда от боли, счастья и любви, богов, огня...» и т.д. Перечисление слов, все это за пределами поэзии. «Москва неподобная летом» — из женской болтовни. «Дома, деревья, листья, ветер — это не Москва, все назывное, просто знаки, а не живое — чувства мертвы». На другом обсуждении: «Критика справедлива. Много абстракции. Мало читает стихов, больше прозу и прозу не художественную. У такой прозы нет эпитета. У вас главная задача — создать эпитет, не можете определить предмет, все эпитеты банальные, не видны, общие, нет своеобразного преломления, поэтому стихи бесцветные. Клише используете, заколдован красотями. «Непритворная ласка» — нет в эпитете ничего, из другого порядка эмоционального. Читайте Пушкина, у него «отчетливый эпитет» (Гоголь). «Циник поседелый, пронырливый и смелый» — о Вольтере, создается эпитетами образ. Убирайте повторения, «хранящий» много повторяется, девальвируется. Не надо сталкивать иностранные слова реклама-плакат, разбавляйте русскими — будет больше воздуха. Ильин о художнике: «Художник отличается от талантливого человека, который пи-

шет на злону дня, а художник — вживается в предмет, сам предмет ему диктует, он из этого исходит. Надо довериться. А талантливый человек — от себя, его видение, сам предмет исчезает — интерпретация: называет, а ничего нет. Надо исходить из предмета. В творчестве все время отбор, все лишнее должно отметаться!..» Кузнецов, отталкиваясь от своей привязанности, читал нам несколько лекций о мистике в поэзии.

Был на семинаре Олег Буланков, поступивший сразу после школы, к нему Кузнецов относился очень по-доброму, приглашал к себе домой, беседовал. На обсуждении, после наших высказываний, Кузнецов говорил: «Олег поражен немного при всей детской чистоте инфантильности. Особенно это чувствуется в стихотворении «Стою у пропасти во ржи» и «Школьная медалька». Когда Фолкнера спросили о Сэлэнджере и его романе «Над пропастью во ржи», тот ответил: «Это незрелый ум, незрелый человек пишет для незрелых умов». Инфантильность, незрелость, неразвитость души. Но ребенок должен расти, и когда тело растет, а душа не развивается, взрослый человек поступает по-детски — это инфантильность. Но у Олега есть стихи, которые говорят, что он способен преодолеть эту инфантильность. У Буланкова есть пленительная недосказанность, он что-то утаивает, что-то неясно, и автор об этом больше не говорит. В таком эффекте какое-то чудо. Когда все ясно, разложено по полочкам, поэзии нет». Олег не доучился, начались проблемы с предметами, курсовыми, ушел и поступил в МГИМО, стал дипломатом.

Можно писать еще, я записывала все обсуждения и не только высказывания Кузнецова, но и выступающих, и самого обсуждаемого. Хотя уже здесь видно главное: Кузнецов никогда не подходил к творчеству других свысока, не видел своей значимостью, все его высказывания были строго аргументированы, он разбирал построчно, он искал ту зацепку, которая может развить, дать толчок, помочь двигаться дальше, он определял ложные пути и старался помочь преодолеть соблазны. Он никогда не унижал, не высмеивал, относился внимательно и бережно. Подробно так привела его выступления на наших обсуждениях потому, что все мы были разные, у всех были свои просчеты, и это может помочь другим, которые пишут сейчас и способны увидеть свои недостатки. А еще для того, чтобы не было соблазна поверить таким статьям, как у Эрастова, что якобы Кузнецову было «лениво» читать наши подборки, и он набрал нас методом «тыка». «Лениво» было читать мне, поэтому, если стихи не трогали, было скучно в них копать, пробегала подборку перед обсуждением, чтобы потом высказаться по свежему впечатлению. Кузнецов, при всей своей занятости, напряженной внутренней работе, досконально изучал текст, не только построчно, но почти побуквенно. Выискивал зерна, которые могут расти. Он был широкой души человек, хотел помочь от чистого сердца, не было у него никакой задней мысли: ни принизить нас, ни самоутвердиться за наш счет.

4. «Я НАУЧУ ВАС МЫСЛИТЬ»

На одном из первых занятий Юрий Поликарпович сказал: «Я не сделаю вас поэтами, это от Бога. Но я научу вас мыслить!» Я задумалась, значит, в поэзии надо мыслить как-то по-другому. Все лекции Кузнецова были направлены на то, чтобы развить в нас эту способность мыслить творчески, образно, вдумчиво. Отметать ненужное, искать главное. Превращать зарифмованные строки в поэзию. Это было трудно, это было на грани отчаянья, это требовало колоссального напряжения. Кузнецов был очень требователен к себе, к своим стихам, прозе. Как-то он сказал, что великим поэтом станет тот, кто сможет писать стихи, не употребляя отрицаний, потому что любое отрицание — это разрушение образа, слова, понятия на подсознательном уровне, в тонком мире, в котором плетется будущее, чем

было отрицаний в нашей жизни, тем хуже будущее. Я попросовала, этого было трудно достигнуть даже в бытовой жизни, эти частицы «не», «бес», «без» и т.д., накрепко въелись в нашу жизнь, как микробы. А Кузнецов написал рассказ «Два креста», где не было отрицаний. Он рассказывал, что трудность вызвал отказ бандуриста играть перед немцами. Как это решить? Он нашел поэтическую формулу: «Перед врагом моя бандура отдыхает».

Он предостерегал нас от застоя творческого, предупреждал, что необходимо постоянно работать, если нет темы, просто даже искать интересную рифму, эпитет, не должно быть лени мысли. Творческий застой — это понятно, но что значит не останавливаться? Поняла позднее, когда стала анализировать, почему многие талантливые поэты не могут найти общего языка с Кузнецовым, понять его тревогу и заботу, принять его требования. Так не получилось учиться у Кузнецова ни у Нины Карташевой, ни у Марины Струковой, которых присылал к нему Станислав Куняев. Они смогли одолеть какой-то рубеж, были отмечены, получили определенную известность. И им стало там уютно, они остановились. Им не хотелось идти дальше. Уровень поэта не должен быть на одном месте, пусть будут падения, будут и взлеты, требовательность к себе — главное в творчестве.

Он попытался давать нам темы домашние, как задание. Прочитав нам Калидасу «Облако-вестник», предложил написать стихотворение или поэму о дереве, скале, облаке. Это повергло народ в раздражение и попытку бунта. Написали только два человека, у меня получилась маленькая поэма об иве — сказка. Она была слабенькой, хотя Кузнецов несколько строф отметил. Но принцип работы над образом впрямую мне понравился, я готова была пробовать дальше, но, учитывая настроение масс, Кузнецов заданий нам больше не давал. Он не давил, предлагал, если не хотели, отходил.

Важным в мышлении поэта Кузнецов считал его словарный запас и отношение к слову. «Все старые слова многозначны, образны и красивы. Если в общественной жизни деньги не обеспечены золотым запасом, происходит девальвация, инфляция, суперинфляция. Так же и в поэзии со словом. Есть золотой запас живого слова, поэзии. Книжность — это перевод, ценность его ниже, теряется. Существуют разные градации слова. У одного обеспечено 50 % золотого запаса, у другого — 0,0001 %. У Блока — 30–40 %».

Сейчас 99 % стихов не являются поэзией. А один из мастеров-классиков сказал, что если бы было так, то поэзия переживала бы расцвет. Значит, еще ниже 1% настоящей поэзии». И добавлял как заклятие: «Больше требовательности, конкретности, воплощенной в жестах, слове».

На совещании молодых писателей для поступления в Союз меня рекомендовал журнал «Наш современник». Отделом поэзии руководил Геннадий Касмынин, которого Кузнецов ценил, читал нам его стихи. Моя подборка лежала у него больше полугода, как он признался потом, его смущала фамилия. «Подумаешь, редкость — отозвался о моей фамилии Бажен Петухов, поэт и донской казак, — у нас на Дону целые станицы с такой фамилией». (По семейному преданию, мой далекий прадед был хороший кузнец. На Дон бежал от лютой помещика, женился, родил пятерых сыновей. Стал жить отдельно хутором, где было 2 кузни, кто ни проезжал, оттуда все «гах!» да «гах!» — молот стучит. Так и стали они Гахами. Юрий Поликарпович даже нашел у Шолохова подтверждение, что молот ударяет — гахает). Это решило дело, меня напечатали, а потом пригласили в своеобразное ЛИТО при журнале. На совещании я снова попала в семинар Кузнецова и Ал. Михайлова. Тут я увидела совсем другого Кузнецова, он был более замкнут, отстранен, задумчив. Не было той теплоты, которая исходила от него на наших институтских семинарах.

От семинара принимали двоих, а нас было больше 10. Для рецензии мне дали

стихи Наташи Лясковской. Стихи мне понравились, она окончила Литинститут, семинар Владимира Кострова. Были интересные образы: осташевские ивы, как бабы, подоткнувшие подолы. Мне не понравилось только количество перечислений в стихах и привязка цвета глаз к бумажным купюрам. Ее обсуждение прошло хорошо, Кузнецову не понравилось то же, что и мне, но в плюс он отметил ее способность к малой форме стиха. На моем обсуждении Кузнецов отмалчивался, говорил больше Ал. Михайлов. Мне показалось, Юрий Поликарпович намеренно меня сторонится. Решила, что ему не понравилась моя подборка, ему стыдно, что я у него учусь. Было горько. Когда великие принимали решение, сидели втроем, думали, что поступит Наташа и еще одна девушка, которая хвасталась всем количеством изданных книг, хотя ее стихи меня не тронули. А взяла меня и еще одного парня. Девочки на меня обиделись, словно я их как-то обманула, а для меня это было полной неожиданностью, я понимала, насколько еще слаб мой уровень. Но Миша Жаравин, мой друг по заочке, писатель из Вологды, которого тоже приняли в Союз на этом совещании, сказал: «Ерунда, главное, что ты так чувствуешь, значит, отработаешь с лихвой». Это оказалось решающим для поворота всей моей жизни. Я твердо решила переходить на очное и «отрабатывать» то, что мне дали как фору. Фора — это определенное количество очков, которые даются игроку или команде при игре с более сильным противником. Так я и объяснила свое желание ректору Сергею Николаевичу Есину, он пошел мне навстречу и перевел меня на очное. Большого счастья нельзя было представить. Я могла посещать все лекции полюбившихся мне педагогов, которые на заочном читали лишь небольшой блок, я могла учиться полнокровно, а главное, я буду каждый вторник приходить на семинар к Кузнецову, потому что как раз в этом году Юрий Поликарпович взял впервые очников.

С очниками Кузнецов работал много мягче, стихи хвалил так, что нам и не снилось, но работать ему было тяжелее. Они были слишком маленькими, многие вещи не могли воспринять в силу естественной необразованности или духовной незрелости. Не было отклика, их трудно было расшевелить, зажечь, их волновало другое, молодость играла и не давала особо углубляться в дебри философии и познания. Как пишет в своих воспоминаниях Екатерина Семенова, которая училась в этом наборе, он представлялся им Вием, который закончит лекцию и скажет: «Подымите мне веки. Не вижу». Он их видел всех и видел очень хорошо, прозорливо. Он каждому сказал, как идти дальше, что может быть опасным, где не оступиться. По-существу, его похвалу надо было воспринимать как завет на будущее, но мало кто это осознал.

На семинаре был очень талантливый поэт Михаил Свищов. У него был хороший ритм, интересная образность, но он подпал под влияние Бродского, калькировал его, это тревожило Кузнецова. Он показывал ему чужие блоки в его стихах, объяснял, что близость тем давит, надо попробовать поменять тематику. Но Михаил был верен себе. Зря Екатерина пишет, что Михаил был ироничен при диалоге, а Кузнецов раздражен. Опечален он был, потому что не хотел ничего давления над душой другого поэта, учил вырабатывать свое зрение, свой слух, свою образность. Остерегал нас от подражания ему. Говорил, что подражание — большая опасность, соблазн идти по хоженному, проторенному, а надо искать свой путь.

Грустно случилось с Оксаной Перепелицей, очень талантливой украинской поэтессой. Когда обсуждались ее стихи, Федор Черепанов, самый взрослый из курса, казак, прошел боевые действия в Молдавии, очень серьезный и вдумчивый, попенял Оксане, что ее образы мелки, а «надо, чтобы они становились образами для всего народа». Кузнецов ответил за нее: «она же говорит «мир на поверхности души», не скрывает, не говорит о глубинах. Она бабочка, а вы хотите, чтобы она была мощная орлица». И далее: «Она творит свой мир, преобразует реаль-

ный мир путем волшебства. Сонные видения врываюся в реальный мир, предметный. Склонна к грезе — видения чистые, легкие, воздушные. Порхание слов легкое, неуловимое, кружится волчком, вертит и листопад, и облака. В этом опасность, может рассыпаться. Главное — на чем все держится, образ мышления, должна быть система. Образное мышление стихийное, хаос, космос, не рациональное, но строй должен быть, чтобы держалось. У Оксаны держится на женской натуре, женские ощущения первичного рода, девические еще. Когда пишет, создает пространство: «Над городом плыли весь день облака» — воздушное пространство, но есть магнит, в конце видно, на чем держится, облака разбиваются в мелкие камешки. Облака по старому представлению сравнивали с камнями. «Но это движение синего дня, все длилось и длилось, и влилось в меня» — все в ней, вливается и улица, образ пространства. «И все сквозь меня утекло, протекло» — это натура женская, еще незрелая девически. Что будет дальше, какой магнит ее притянет? Женская поэзия — специфическая. Габриэла Мистраль — 2 цикла, посвященные ребенку, а сама в жизни не рожала. А те, кто рожали, у них нет, задавлены эгоизмом, как Ахматова. В женской поэзии притяжение — мужчина, здесь нет, еще не пришел. Приглядчивость настойчивая к миру другому: часто зрачки, глаза, есть элементы рационализма в стихотворении о муравье, в «Обезьяннике». Если верлибр очень рационален, ослабляет энергию. Что она ловит: звуки, ритмы. Это главное. Ритм текучий, в нем мелькают предметы, которые рядом не стоят, но в текучести соприкасаются — ассоциативное мышление, присущее XX веку, это хорошо. Плохо то, что эта база мышления покоится на книге. Есть желание рисовать в стихах, не живопись, не изобразительность, а внутреннее волнение. Начитанность — это полукультура, когда будет культура, это уйдет. Как матрешка: одно в тебе, ты — в другом и т.д. А здесь одно уничтожает другое. Движение водометки, скользит по поверхности, держится, а внизу бездна неведомая, бури врываюся бессознательно:

И режет душу и глаза,
Хочется лежать и плакать,
Или просто умереть...

Это искренно, но большей частью выражается на словесном уровне, не жизненном. «Пересыпая тишину в сухих ладонях» — особенно словесный уровень. Разница: слова, слова, слова и СЛОВО. Слова, слова скользят над СЛОВОМ. Талант дан, есть детская инфантильность: «хрустальный шар прозрачного пруда», «крылышко в мушином скрипаче» — просто крыло мухи, что за скрипач? «Глаз косых дождей, словно бонз» — берете ответственные слова очень легко, это удивительно. Свежесть эту, простодушие надо сохранить. Что касается традиции, у нас нет такой традиции в русской поэзии, это от модерна. Когда модерн сочетается с фольклором — это поэзия, например Гарсиа Лорка, но это не русская традиция. Материал — русское слово, а у русского слова своя культура, может вобрать что угодно, перенимает. У вас пока ассоциативное мышление, но разорванное. Клюев «Погорельщина» — ассоциативное мышление, что не свойственно ему, но там узорчье русское. Близок Хлебников, но это сумасшедший, у него разорваны связи, всплески гениальных озарений. У вас прозападная ориентация, если пишете по-русски, надо и думать по-русски. Афанасьев исследует на примере древних индоевропейских народов корни славянского образного мышления. Нельзя оценить Есенина без Афанасьева, читал внимательно. И подводя итог: «По стихам нельзя разглядеть вас, какое-то сновидение, призрачное, но все данные есть для крупной поэтессы. Много противоречий. В XIX веке были поэтессы Каролина Павлова, Растопчина, но крупнее Ахматовой и Цветаевой нет. После них по величине еще одна — Светлана Кузнецова — создала свой образный мир, но страшная

жизнь — нет Бога в стихах, поэзию больше мучения внутреннее». Но Оксане, долго работавшей в библиотеке, преданно любившей Пастернака, чужд был образ мысли Кузнецова, она ушла из семинара.

Кузнецов учил мыслить, относиться требовательно к себе. Он щедро разбрасывал посев, а наше дело было очистить поле от камней, вспахать, подготовить. Чтобы понять, воспринять всю мудрость и глубину сказанного Кузнецовым, надо было серьезно трудиться самому. Научить мыслить и научиться мыслить можно было только при обоюдном желании. Зато как здорово было, когда эти всходы прорастали, это было зримо, это было удивительно, это было чудо. От подборки к подборке росли те поэты, которые старались мыслить, воспринимать. Особенно ярко это проявилось на Олеге Бурмистрове, он был заочник, два года выделялся только удивительными эпиграфами то из зарубежных поэтов, то из восточных мудрецов. За эпиграфами его стихи пропадали. Тем более что он считал себя бардом и писал их для гитары. Кузнецов предупреждал его: «Банальный ритм: «Этих губ беспечность, этих глаз суровость» — все это снятая вода. Это большая беда в банальных ритмах — инерция, подпал под нее и погиб. Объем можно приветствовать, но он очень замусорен, берите свои блоки, орхидея — нам чуждая, привезенная; польнь — наше степное, образ горечи. Нехватка материала, самонедостаточность восполняется мусором. Читайте непереводаемых, наших, чтобы ощутить язык — Тряпкина, Передреева, читайте классику — Бунина, Фета, развивайте зрительную память». И вдруг на третий год он привозит удивительную, самобытную живую подборку. Он повзрослел духовно, вот как он предварил свое обсуждение: «Период метаний заканчивается, вхожу в свои берега, потихоньку нахожу свой стиль». Эпиграфами к стихам были забытые народные песни, очень интересно подобранные. Больше всего нам понравилось стихотворение «Болото», я даже записала его полностью в журнал, чего никогда не делала. Эпиграфом к нему было: «Э-эй, доля, доля моя, где же ты? — водою заплыла».

Все ужасно плохо
И с души воротит,
Обрастаю мохом,
Как столетний пень.
А вокруг болото,
Страшный леший бродит.
И в лесу кого-то
Режут каждый день.

А в соседней луже
Плещется русалка,
Воеет по-белужьи,
Что — не разберешь.
Получится, может,
Славная рыбалка,
Но себе дороже,
Так же запоешь.

Я боюсь лягушку,
Вдруг она царевна,
Я боюсь старушку,
Вдруг она Яга.
Это, братцы, враки,
Что любовь бесценна.
Не нужна собаке
Пятая нога.

Мне бы лучше солнце
Да глоток водицы

Из того оконца,
Где не видно дна.
Так бывает — сразу
Трудно утопиться...
Вот и пьем заразу,
Все равно хана.

Кузнецов: «Недаром эпиграфами — песни русские народные, в самих стихах есть напевность, скрепленная иронией, но есть иронические песни. Ирония — вещь тонкая. Со вкусом неважно дело. Юмор не удастся, не хватает непосредственности жеста. «Болото» — лучшее из подборки, на своем уровне законченное. Это достижение». Не устроило его только четверостишие с пятой ногой, предложил Олегу с ним поработать.

За период учебы сильно выросли Оля Ненахова, Таня Бычковская, Володя Цывунин, Алексей Гладков. Кузнецов удивительно радовался успехам других. Это было и его достижение, его маленькая победа.

Когда сейчас слышу сетования, что Кузнецов своей волей правил некоторые стихи перед публикацией в журнале, удивляюсь — это же тоже учеба, надо сравнить, понять почему, что было не так. У меня из стихотворения «Бабкины сказки» Кузнецов убрал последнюю, как я считала ударную строфу, в которой раскрывался смысл стихотворения. Я удивилась, стала думать и поняла, что именно недосказанность сделала стихотворение поэзией, не надо объяснять, каждый найдет свое. Возмущался Валерий Гришковец, но напечатал в другом издании стихи с правкой Кузнецова, значит, тоже нашел свое зерно. На конференции, посвященной теме «Кузнецов и Литературный институт» Марина Котова утверждала, что Кузнецов испортил ее стихотворения, хотя и сделал большую подборку, как пример привела свою лучшую строчку «Навы песни Россия поет», которую Кузнецов заменил. Но если вздуматься, Кузнецов не мог оставить такой строки в стихотворении, ведь это же Россия смертные песни поет, как можно так неосторожно обращаться с древним словом, наполненным не просто силой, а колдовством. Это же желать России смерти. Естественно, Кузнецов не пропустил такой вариант. Не надо цепляться к Кузнецову, надо начать с себя. Человек, который винит другого, теряет свою душу. Мыслить и быть требовательным к себе, вот завет Кузнецова.

5. ПАМЯТЬ

Со мной такое начало происходить, когда я уехала из дома на учебу. Жила я в Ялте, учиться стала в Ленинграде. Совсем другая природа, места, мною никогда не виденные, и вот приезжаем убирать картошку на первом курсе в село Копорье. Вечерком идем осматривать старинную крепость. Подхожу к бойнице и вдруг слышу свист стрелы, чувствую толчок ветра у виска, отпрянув назад, понимаю, что это глюк. Но ощущение было настолько явным и ярким, что не давало мне покоя. Второй раз в крепость пришла сама, и опять неладное: вдруг почувствовала резкий запах гари, слышала звуки битвы, ржание коней. Ощутила себя воином, даже тяжесть доспеха почувствовала. На третьем курсе художественная практика проходила у нас по Золотому кольцу. В Ростов Великий я приехала позже на день, пошла искать общежитие сельскохозяйственного техникума, где остановились наши, случайно вышла к озеру. И снова, как морок, четкое видение. Я написала стихотворение. Решила показать его Кузнецову.

Был жаркий день. Ростов Великий
О прошлом грезил у воды.
Шум автострады. Чаек вскрики
Совпали с отзвуком беды.

И преломилось отражение,
Поднялся к солнцу донный лед.
Веков привычное теченье
Вдруг завертел круговорот.
Набат и крик. Волною жгучей
Мое лицо опалено,
А по полям несутся тучи,
От вражьих стрел темным-темно.
И я к соседям за подмогой
Скачу сквозь чашу напрямик.
Часовня, рядом сруб убогий
И в схиме сторбленный старик.
И от его благословенья,
По взмаху старческой руки,
Исчезло страшное виденье...
Холодный вечер. Огоньки.
Стрекочет вдалеке моторка
И ноги трогает волна.
А в сердце острая иголка.
И тишина.

А утром, в сумерках вороньих,
Пройдя деревню, чахлый лес,
Нашла развалины часовни
И черный безыменный крест.

«Это не одно воображение, вы настроены на какой-то тон, который совпадает с памятью рода, прапамятью. Это путь развития, замыслы вспыхивают, возникают, это хорошо. Но необходимо оттачивать образность, зреть», — сказал он. После этого Кузнецов прочитал лекцию «Память — вечная тема поэзии»: «В творчестве и жизни — две движущие силы: воображение и память». Он рассказывал в этой лекции о вечных городах, которые строились на века, о «Философии общего дела» Федорова, который был не вспоминателем, а воскрешателем. «Эпоха Возрождения, по мысли Федорова, переместила центр тяжести из прошлого в будущее, в ту область, о которой никто не знает, в пустоту. Большое значение стало придаваться человеку». Он много цитировал, рассказывал о высказывании «Иван, не помнящий родства», о нарушении памяти, о забвении, и как вывод: «Воскрешение корней языка — область памяти, потом воображение. Память — поверх того, что имею. Творчество преобразует, дает систему и выстраивает. Самое главное знание — интуиция, она выберет нужное и оставит в памяти, сделает частью души, остальное — мусор». Сам Кузнецов относился к этой теме очень серьезно. Он работал в издательстве и издал трехтомник Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». Он не был «ударен» Афанасьевым, как прозвучало на конференции, он понимал, что для писания на русском языке нужна русская память слова, его корней, русская образность, иначе — 99% непоэзии, которая мнит себя таковой, путаясь в понимании простых русских корней и поэтому щедро заменяя их иностранными словами, якобы расширяя свой словарный запас. Расширение запаса идет из золотого фонда, поэтому Кузнецов добился, чтобы трехтомник был роздан его студентам бесплатно. Он составил список, и мы получали его в издательстве пофамильно. Это был важный взнос, гигантский труд, сравнимый с его поэтическим переводом «Лествицы». Он очень интересно рассказывал, чем отличается Ветхий завет от Нового. Кузнецов помнил обо всех. Помогал, кому мог, и помогал многим, пробивая стипендии студентам и ВЛК-шникам через Союз писателей. Зная, что у меня дочь, а у мужа перебои с работой, пробивал стипендию и мне. Он помнил даже о тех, кто

не учился у него. Так, зайдя вечером на кафедру творчества, отдать журнал, уви-дела его сидящим среди груды рукописей. «Просматриваю дипломные работы прошлых лет разных семинаров. Нашел стоящее». Нашел человека, который окончил институт, уехал в деревню не востребованный и забытый. Кузнецов написал ему, после напечатал его подборку в журнале. Скольких таких безвестных самородков он отыскал по городам и весям, скольким дал возможность прозвучать. Его память была всегда действенной. Окончив одну лекцию, через какое-то время опять возвратился к этой теме, но с другой стороны. Начал с Гумилева, «Туркестанские генералы» — держит стих память отечества, не личная память, но шире — память отчины, образ памяти. Середина XX века — военное поколение вспоминало. 1380—1980 гг., 600 лет Куликовской битвы — отеческая память, «Иван непомнящий» вспомнил. Большой рубеж в истории Отечества. Погибшее военное поколение — мужики, а не интеллигенты, «погибли все лучшие», по воспоминаниям фронтовиков. Это истина нравственная, память нравственная. Заслуга поколения — возвращение к теме памяти и путь этой темы вглубь к истории России». Сам Кузнецов совершил подвиг на этом пути, вывел из тьмы забвения 400 погибших с его отцом, об этом поэма «Четыреста». Он говорил нам на лекции: «Память сливается с совестью, стыд, боль живет с забвением, со славой, с мечтанием. У поэтов, у которых развита память, сильно развито и забвение. Это оборотная сторона». После он читал лекцию «Забвение».

Кузнецов любил дарить книги. Дарил тоже с прицелом, направляя, давая очередную возможность продвинуться вперед. Зная о моем увлечении эпосом, сказками, подарил мне двухтомник «Крестная сила» и «Нечистая неведомая сила» издательства «Русский духовный центр», «100 стихотворений» Светланы Сырневой, несколько своих сборников и «Пересаженные цветы» — свои переводы. Дарил книги другим ребятам.

А на моем обсуждении, когда меня отругала за отсутствие современных слов и чувств московская поэтесса Юлия Тарантул, Кузнецов обронил фразу, ни к кому не обращаясь: «Времени нет, есть память».

6. СТЫД И СОВЕСТЬ

Одной из важных лекций была «Образ и понятие стыда в русской поэзии». Кузнецов считал плохим показателем, что современность теряет совесть и стыд не только в жизни, но и в творчестве. «Понятие стыда забыто, ушло из жизни, а самое главное — из поэзии. Стыд — внешнее проявление совести, может быть истинным и ложным, все зависит от совести. Бесстыдство — противоположно стыду и тоже связано с совестью. Совесть — понятие не бытовое, глубинное, по-христиански это внутренний, Богом данный закон, который ни от чего не зависит, только от самого человека. Все внешнее — это внешнее, совесть внутри, нельзя жить заемной совестью. Со-весть, весть с Богом — божественная весть. Религиозный Кант определил ее как «нравственный закон внутри нас». Внешнее проявление нравственного закона — стыд.

Совесть понятие национальное, дано от Бога, не историческое, но не узконациональное, а этническое». Он определил истоки в национальной поэзии, читал классику: Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, показывая, как совестлива их поэзия, какие сильные образы. Но уже «опыт XX века — совесть забыта, так как забыт Бог». Привел стихотворение Анненского «В дороге»: «О мучительный вопрос: наша совесть, наша совесть...» «Неполное соответствие образа и понятия переводит все в риторическую область — мучительный вопрос. А совесть не вопрос, это закон, ответ, данный Богу, а здесь все умственно, понятийно. Приводил стихи Ахматовой, которая шла в классической традиции, но и у нее прозвучало: «рас-

тут стихи, не ведая стыда» — то есть вне зла и добра, — объяснял Кузнецов, — Бога забыли, вырождение, декадентство.

Но в безбожную эпоху совесть пробудилась. У Твардовского в гражданском стихотворении, где почти нет образов:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны...
.....
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Горечь есть, возвращается совесть. Такое стихотворение может быть написано после любой войны, бессмертно, так как автор коснулся вечной темы. В современной прозе совесть держится (деревенская, городская) — это лучшая проза. Константин Воробьев — традиция литературы XIX века — стыдливой, совестливой литературы. А в поэзии почти нет. Гражданская лирика 60-х годов — область слов, словесных фигур, не идет в глубину. Негативные проявления погубленной совести — бесстыдство. Лимонов использует мат. Утрачено целомудрие. Классика дает образ целомудрия — «Коробейники» Некрасова: «Распрямись ты, рожь высокая, / Тайну свято сохрани».

Нравственность иссушается, морализаторство в поэзии, трескучая назидательность, пропадает красота. Эту тему форсировать нельзя. Когда стыда нет — все назывное, таких много стихов гражданских о России. Стыд дает глубину, уходит к совести, внутри человека бездна».

Юрий Поликарпович был требователен к себе, в его стихах нет пошлости, нет безнравственности. Он не терпел пошлости ни в стихах, ни в жизни.

Человек судит по себе, чем больше пошлости в нем самом, тем с большим удовольствием он опошляет все вокруг. Но напрямую я столкнулась с ней по отношению к Кузнецову два раза. Мы хоронили Лебедева, поэта, удивительного исследователя творчества Баратынского и Тютчева, чудного человека, он был тоже 1941 года рождения, как моя мама, как Кузнецов. Меня попросили сказать несколько слов от студентов. Я сказала, заключив тем, что теперь стихи Баратынского и Тютчева будут звучать для нас вместе со словами Лебедева. Я сказала от души, Кузнецова это тронуло, после церемонии он повел меня в Союз писателей, который был рядом, в другом переулке. В кабинете навстречу нам поднялся маленький человечек с большим носом и роговых очках. Весь в сером, серые редкие волосы. «Привел поэта, надо напечатать», — с порога сказал Кузнецов. «Что значит надо, кто сказал?» — «Я». И тут человечешко высказался совсем откровенно, хоть и тихо: «Водят полубовниц, а мы печатай». У меня даже дыхание перехватило. «Юрий Поликарпович мой учитель, он мне в отцы годится, а вы говорите такие гадости». — «А ты вообще ничто!» — заорал он на меня, вдруг обретя голос. Возможно, дело могло дойти до рукопашной, рядом очень соблазнительно стоял графин. Но Кузнецов развернул меня, молча, и вывел из кабинета. Он ушел, не попрощавшись со мной, опустив плечи. Позже я поняла, что ему было стыдно передо мной за этого человека, за то, что он представлял Союз писателей, за отношение к нему, поэту. Не человечку стало стыдно, а Юрию Поликарповичу, который и виноват ни в чем не был. Я кипела, но, остыв, вдруг осознала, как меня назвал этот серый пиджак. «Ничто!» Ну и пусть, я же «русское ничто!» И еще я поняла, как легко и соблазнительно опорочить человека для таких «серых», ничем не выделяющихся в жизни. А когда через несколько лет столкнулась с тем, что выпускники филфака МГУ, преподаватели литературы, лучше знают любовные похождения Пушкина, чем его творчество, я поняла, что таким «серым» несть числа, имя им легион.

Второй раз, уже после института, на пятом месяце беременности, я принесла подборку Кузнецову в журнал, мы немного поговорили, тут в дверь вошел поэт из

Ленинграда, как отрекомендовал его Кузнецов. Он был без пальто, несколько под градусом. «Моя ученица», — представил меня Кузнецов. «Твоя... — протянул поэт. — Больно хороша для ученицы!» Тут вскипел Кузнецов: «Ты что ослеп, у бабы муж, двое детей, брюхата третьим!» Поэт виновато заморгал: «Думал девчонка». — «Хорошо сохранилась», — буркнул Кузнецов, я попрощалась и ушла. Здесь не было попытки обидеть, была неудачная шутка, на грани с пошлостью. Настоящий поэт, открытый глубинам слова, гораздо острее воспринимает и жизнь, и слово. Он был очень ранимый, но не показывал вида, хотя в душе переживал и обижался.

Свое отношение к Кузнецову я осознала, когда в первый раз прочитала его стихи, еще не видя его самого — духовная близость. Я понимала его мысль, мне были близки его чаянья, его тревоги относительно России, меня мучили те же вопросы. Только он был мудрее, сильнее, глубже, мне было чему учиться, и училась я с радостью. Тем горше осознавать сейчас, что многие воспоминания о нем тех, кто его знал, кого он учил, с кем был дружен, направлены не на то, чтобы выявить многогранность личности Поэта, а на то, чтобы либо выпятив себя, либо принизить Кузнецова, возможно неосознанно. Так, в воспоминаниях о нем можно выделить две фигуры: гиперболизацию и умолчание. Относятся они обе к одной теме — пития. Читаю, что Кузнецов много пил, особенно в 90-е годы, но я училась у него с 1993 по 1998 год, видела его каждый вторник на семинарах и не один раз в другие дни в институте, библиотеке. Он не пропустил ни одного занятия, ни одного. Всегда был аккуратен, адекватен, собран. У него была лекция «Питие в творчестве». Если пишут, что Кузнецов много пил, то либо хотят показать, что они пили с поэтом (каков!), либо опускают его до своей планки, — это гиперболизация. Не лучше умолчание. Екатерина Семенова пишет в своих воспоминаниях, что они купили выпивки, чтобы стать ближе с Кузнецовым, выпили, но ничего не изменилось. Ну и учитель, не стал теплее даже после выпивки. А он никогда не пил со студентами, я ведь училась вместе с ними. Мы хотели отметить его день рождения, я напекла пирогов, сделала торт, принесли закуску, бутылку, которую очень легко уговорили наши мальчики. Кузнецов попробовал только выпечку и то чуть-чуть. Мне кажется, в своих воспоминаниях, особенно о людях такого масштаба, надо быть предельно строгим к себе. Здесь должно быть, как у врача: не навреди! Потому что люди, которые придут после, поэты, читатели, не должны получить искаженный образ, как стараются исказить Есенина, Пушкина, Блока. Велик соблазн принизить все высокое и благородное, потому что этих чувств чистых, светлых, целомудренных стало мало вокруг, судят по себе.

Я, не желая того, обидела его два раза. Первый, когда в начале обучения он пригласил меня на лекцию к ВЛК-шникам, обещал интересную тему, а я заболталась с девчонками и не пошла, полагая, что у меня еще сколько лет учебы, ого! Больше он не приглашал. А второй раз, когда у меня родился сын, он очень тепло меня поздравил, и я попросила быть крестным отцом Егору. Он согласился. В назначенный день не вышло, Егорушка заболел, а потом мы уехали в Крым. Это был 2003 год. Осенью я пришла в журнал с подборкой. Кузнецов сказал мне с такой усталостью и горечью, что у него уже появился крестник, но что это ничего не дает. А потом его не стало. Егора я крестила уже после, но и ему говорю, и сама считаю, что его крестный отец Юрий Поликарпович.

7. ВЫБОР ПУТИ

Когда меня на обсуждении отругали, что нет личных стихов, например, про любовь, я ответила, что мои чувства не кажутся мне предметом поэзии, всех это удивило. Однако Кузнецов посоветовал мне все же попробовать написать о любви. Поэт должен охватывать мир целиком, не должно быть пропусков, зияний,

надо пробовать себя во всем. Я написала два стихотворения, они Кузнецову понравились. И вдруг Юрий Поликарпович на следующем семинаре прочитал нам статью Кожина о Твардовском и Заболоцком «И счастлив тем, что я не чудо». У них тоже нет личной поэзии, они не считают себя предметом лирического плана, то есть исключением. Их герой — народ. «Минус, что поэты не первого ранга, можно сказать, что за ними будущее, придут более сильные поэты, пойдут по их пути, но и это спорно. Нельзя принимать концепции на веру, все концепции — на словесном уровне, мало связаны с жизнью». А мне такая позиция понравилась, она была чем-то сходна с моей, но не совсем. Я поделилась своими сомнениями с Кузнецовым. «Поэзия — это прямое отношение к жизни, ищите его в себе, найдите в себе тот стержень, вокруг которого строится судьба и поэзия». Я еще раз перечитала Твардовского и Заболоцкого и поняла, что именно меня не устраивает, в их стихах не было высшего начала, не было Бога, поэтому природа народного бессознательного не прорывалась ввысь, не было выхода.

До этого Кузнецов предложил мне сделать содоклад на тему «Родина», он читал о литературе, а я должна была рассказать об отношении к этой теме у художников. Случилось это после того, как я подарила ему на день рождения акварель. Кузнецов показал ее знатокам и с удивлением передал мне, что «этюд написан на профессиональном уровне», он вдруг увидел меня с другой стороны, ему стало интересно услышать иной срез, не только литературный. Я подготовилась. Удивительно, что на художников я теперь смотрела по-другому, кузнецовские лекции не пропали даром, я вдруг открыла для себя то, над чем раньше просто не задумывалась. Так я с удивлением поняла, что ученик Саврасова Левитан, взяв за основу композиционный принцип этюда своего учителя «Безыменный крест», не просто развил тему, написав картину «Над вечным покоем», но... убил ее иным, не русским пониманием этой темы. У Саврасова взгляд от креста устремлен к небу, вектор движения души, стремления, покаяния. А у Левитана взгляд сверху, над крестом часовни, взгляд не православный, можно сказать, что это взгляд души, но опять нет грации высшего, куда должна она устремляться. Это меня поразило, потому что картина Левитана мне очень нравилась, я растерялась. Кузнецова моя растерянность позабавила, так говорите, сверху смотрит, отношение к Родине и вере поверхностное, свысока? А вы как смотрите?

Религия и вера росли со мной, прабабушка подолгу молилась, постилась, знала все церковные обряды и праздники. Я росла в основном у бабушек. Мама училась в институте, папа был капитаном, приходил поздно, а когда мы переехали в город, все выходные и каникулы я все равно проводила у бабушек, там был мой духовный дом, воля, море, лес, друзья. Прабабушка была удивительная, ей довелось окончить 4 класса приходской школы в селе Бджолинка Богучарского района, но окончила она их так блистательно, что священник рассказал о ней на проповеди, и приход собрал деньги на ее дальнейшую учебу. Однако учиться ей пришлось недолго, семья бедствовала, и ей пришлось уйти в няньки. Но тяга к учебе не только не прошла, а развилась с годами. Хотя доля ей досталась нелегкая, после раскулачивания мужа сослала очень далеко, строить химзавод в Чимкенте. Она жила с детьми в сыром погребе, дети стали болеть, похоронив двойняшек, взяла четверых оставшихся и пешком на перекладных пошла за мужем. Войну пережили там. Там в 1941-м родилась у бабушки мама, так и не увидевшая отца, бабушка беременная, на восьмом месяце проводила его на фронт. Когда народ набирали ехать восстанавливать Крым, прабабушка снова круто поменяла судьбу, так они оказались в Магараче, поселке возле Ялты. Сажали виноградники, создавали рыболовецкий совхоз. Прабабушка вела дом в строгости, ее слушались все. Но главное было по вечерам, она читала вслух. Все собирались вокруг, а читала она Достоевского и толковала его по Новому завету и часослову. Это я вынесла из

детства. Все поверялось верой, из веры росла стойкость и сила. Но я не была тогда воцерковлена, вера была во мне как данность, намоленная предками. Но если есть порыв, все идет одно к одному. Владимир Иванович Славецкий, который вел у нас стихосложение, после нашего с ним спора о Кузнецове, которого он считал книжным поэтом, подарил мне книгу Федотова «О духовной поэзии». «Кузнецов нашел свою нишу в поэзии, вам надо тоже определяться».

Стихотворение «Молитва» написалось неожиданно, оно было о моем отношении к любви, о жертвенном, спасающем. Оно понравилось Кузнецову, пожалуй, вы нащупали путь, сказал он мне. И после на обсуждении подвел итог: «Целомудренность, спокойствие души, может, самое ценное у Марины, ее стихи — умная молитва. Неторопливая походка, неторопливо пишете. Незамутненность души, цельность в наше разорванное время ценно». Я поняла это как завет на будущее, он указал мне движение, направил.

Мне очень нравилось учиться в Литературном институте, каждая лекция, каждый предмет задевали, были интересны по-своему. Мне посчастливилось, целая плеяда удивительных педагогов, профессоров, которые не просто читали лекции, а жили литературой: Еремин, Смирнов, Лебедев, Корниенко, Федякин, Дмитренко, Молчанова, Гусев, Орлов, Кожинов, Палиевский, Иванов, Дерягин, Карабутенко, Горшков, Лилеева и многие другие. Здесь были педагоги не только по русской классике, современной литературе, критике, но и по русскому языку, стилистике, истории, зарубежной литературе, философии, психологии. Это был мой мир. И все же главным в этой плеяде был Кузнецов, он учил меня мастерству.

На диплом стихотворения отбираются за все время учебы, отбирает руководитель семинара, получается подборка, по которой можно отметить рост. А мне захотелось сделать что-то вроде небольшого сборника, объединить стихи под одной темой, темой памяти. Назвала я его «Кресты и звезды». Туда вошли не все отобранные за годы учебы стихи, много было новых, написавшихся по теме, некоторые Кузнецов не видел. Тем интереснее мне было его мнение. А еще мне хотелось проверить себя по полной программе, и я, набравшись смелости, попросила рецензировать мой диплом Вадима Валерьяновича Кожинова, он как раз читал у нас спецкурс. За это получила нагоняй от Владимира Павловича Смирнова, который и приглашал к нам таких удивительных людей. Чтобы заглазить свою ошибку, подошла к Кожинову и предложила любую помощь, за его согласие меня рецензировать. Он попросил меня напечатать на машинке рукописный текст его статьи для журнала «Наш современник», сам он не печатал. Я с радостью согласилась, печатала быстро, у нас в школе было делопроизводство и машинопись. Так я побывала несколько раз у него дома. Увидела удивительные стеллажи книг, знаменитую Кожиновскую библиотеку, а главное — мы с ним разговаривали и о стихах, и о песнях, которые Вадим Валерьянович очень любил, больше говорил он, а я внимала. На его вопрос, понравилась ли мне его статья, ответила, что за количеством фактов не виден вывод, если журнальный вариант, есть смысл сократить доказательства в пользу обобщения. Его мой ответ удивил, он сказал, что считал главным именно доказательства. Когда разговор зашел о моем творчестве, Кожинов сказал, что не может назвать меня по стихотворениям поэтессой, и выбор тем, и образы говорят о том, что вы — поэт. Но в рецензии мне придется вас так называть, таковы установочные правила написания официальной бумаги. Ему мой сборник понравился, он рекомендовал его в печать, но, помня свой горький опыт, никуда я его не носила. Благодаря Кожинову поняла, почему Юрий Поликарпович не разрешил мне приходить к нему на лекции после окончания института. «Я вам уже все рассказал, дальше буду только повторяться, а мне этого не хочется», — сказал он мне. Я очень расстроилась, я уже не представляла, как буду жить без его лекций, его руководства. Оказалось, сделал он это намеренно. Через не-

сколько лет после окончания института, учась в аспирантуре в ИМЛИ у Натальи Васильевны Корниенко, встретила в очереди в кассу Вадима Валерьяновича. «Поздравьте меня, у меня сын родился!» — сказала я ему после приветствия. «Это хорошо, — ответил Кожин, — но сначала поздравлю вас с другим. Читал вашу подборку в журнале «Наш современник». Хорошие стихи, самостоятельные, вы идете своим путем. Не оправдались опасения Кузнецова, что не сможете преодолеть притяжение его стихов. Поздравляю!» И предложил мне писать у него после защиты кандидатской докторскую о творчестве Любви Кохановской — незаслуженно забытой писательницы XIX века. «Ее проза сопоставима с Аксаковым, очень сильные образы, захватывающее повествование. Мне кажется, у вас много общего, вы сможете написать о ней, как никто другой». Я прочитала ее романы, мне очень понравилось, но писать о ней пока не получилось. Родились мои кандидатские Маша и Егор, забот стало невпроворот, но еще я поняла, чтобы писать о другом человеке, надо жить им, его творчеством, надо самозабвенно предаться служению его памяти, его таланту. А мне хотелось творить самой.

Вскоре умер Кожин. Его жену, чтобы поддержать морально и материально, взяли на работу в «Наш современник». Сидела она в одном кабинете с Юрием Поликарповичем. Однажды прихожу, его не застала, а она сидит чем-то расстроенная. «Представляешь, как со мной намучился Кузнецов, — пожаловалась мне. — Мало того, что все время болтаю, все забываю, а тут еще и кружку помыл». Показывает чисто вымытую кружку. «Я чай пью, а кружку мыть забываю, так он терпел несколько дней, а теперь вымыл. Оказалось, он такой аккуратист. И что мне теперь делать?» — «Пить чай из чистой кружки» — улыбнулась я. «Но мне же стыдно! Ничего не сказал, взял и вымыл». Так мне открылась еще одна грань характера Кузнецова. Почерк у него был бисерный, четкий, буква к букве. Он мне показывал подготовительные наброски своих лекций, ни зачеркиваний, ни помарок, четко, ясно, правда, в основном цитаты. Обобщения, мысли, рассуждения были импровизированными, поэтому он мог на одну тему прочитать в разной аудитории разные лекции. Это было удивительно. Рабочий стол в редакции у него был всегда аккуратно убран, все рукописи разложены. Он не давал себе поблажек ни в чем, даже в мелочах.

8. ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

В 2001 году у меня родился сын. В этом же году Кузнецов написал стихотворение «Анюта». Прочитала его в журнале, и сердце сжалось, настолько пронзительным, провидческим оно было. Я помчалась в журнал. «Марина, в вас говорит материнский инстинкт, неужели вам не хватает своих забот, у меня все хорошо», — ответил он на мою тревогу. В храме Вознесения Христова купила кулончик с Георгием Победоносцем, хотела ему отдать, но постеснялась. Потом думала подарить на крестинах, снова не вышло. И вот, договорившись о встрече с ним через неделю после передачи рукописи со стихами осенью 2003 года, через три дня, почувствовала беду, набрала номер редакции, телефон долго не отвечал, потом трубку взяла, и на мою просьбу позвать Кузнецова, рыдающий мужской голос сказал, что он умер. Его последние слова, последнее желание было: «Домой!»

Кузнецов очень переживал безотцовщину, многие произведения его, стихотворения, отдельные реплики говорили о постоянной боли. Я понимала это, потому что так же болезненно переживала безотцовщину моя мама, которая ждала отца даже будучи уже сама мамой, не верила в его гибель. Кузнецов своего отца нашел, вывел из забвения его и тех, кого похоронили вместе с ним. «Полковник Кузнецов и др.» было написано на захоронении. Что значит «др.», возмущался Кузнецов. Он совершил и поэтический и человеческий подвиг, восстановив фами-

лии погибших, добившись установления стелы со всеми фамилиями павших. О возвращении отца сыну его рассказ «Два креста». Эта боль утихла, он исполнил сыновний долг, появилась другая. Юрий Поликарпович мечтал о сыне, потом об ученике, которому он сможет отдать свои черновики, передать свое дело служения Родине, народу. Когда у меня родился сын, после двух дочек, Кузнецов очень тепло поздравил меня и сказал: «А ведь добилась своего, ну что за молодец!» Ему понравилось, что сын — Георгий. «Победоносец! Я ведь по-церковному тоже Георгий». — «И тоже Победоносец!» — поддержала я. Он почему-то расстроился.

Его мысли всегда шли каким-то неординарным путем, он мыслил вглубь, не терпел поверхностного отношения к жизни ни в стихах, ни в поступках. Я стала учиться у Юрия Поликарповича в 1993 году, в черном октябре ездила к Белому дому. Но участвовать в демонстрациях не пришлось, был жесткий график работы на закрытом предприятии. А Юрий Поликарпович ходил, попал на разгон шествия у ВДНХ. Рассказывал об этом с неохотой и тяжелой горечью. Поэт не должен быть политизирован, он должен быть с народом, но не становиться частью толпы. Толпа забирает все, мысли, чувства, все подавляется инстинктом массы. Я не записала тогда его слов, он говорил это, курия в коридоре, но смысл был таким. Неординарным было его отношение к вере. Он не принимал догмы, но верил в «живого Христа». Когда я прочитала книгу Федотова «О духовной поэзии», подарила такую же Кузнецову, он был ошеломлен. «Как ты узнала?» Я не поняла вопроса тогда, оказалось счастливое совпадение, в это время он начал работать над удивительным циклом, посвященным Христу, никому не говорил, моя книга пришла кстати. Так о детстве Христа не писал никто даже в мировой литературе. Много колыбельных, но такой пронзительной колыбельной и от лица Божьей Матери еще не было.

ХРИСТОВА КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Солнце село за горою,
Мгла объяла все кругом.
Спи спокойно. Бог с тобою,
Не тревожься ни о ком.
Я о вере, о надежде,
О любви тебе спою.
Солнце встанет, как и прежде...
Баю-баюшки, баю.

Солнце встанет над землею,
Засияет все кругом.
Спи, родимый, Бог с тобою.
Не тревожься ни о чем.
Дух Святой надеждой дышит,
Святость веет, как в раю,
Колыбель твою колышет...
Баю-баюшки, баю.

Веет тихою любовью
В небесах и на земле.
Что ты вздрогнул? Бог с тобою.
Не тревожься обо мне.
Бог все видит и все слышит,
И любовью, как в раю,
Колыбель твою колышет...
Баю-баюшки, баю.

«Спи спокойно, Бог с тобою», — привычная присказка приобретает глубинный смысл: Бог триедин. Колыбельная Богу.

Не тревожься ни о ком...

Не тревожься ни о чем...

Не тревожься обо мне...

Провидение во сне, спит ребенок, а Бог в нем провидит грядущее. Но и земная женщина обретает божественные черты, потому что Богородица слилась в славянском сознании с Матерью сырой землей, она всех родит, всех убаюкает. Это не каноническое, это наивное, интуитивное видение истины, русское видение. Без нее нет истинной веры. Наша беда не в том, что мы не можем поверить, рассудком возможно, но мы разучились видеть так, как видели мир и божество наши предки. Уходит из жизни духовная интуиция, заменяется рассудочной, самодовольной слепотой — и это одна из самых страшных наших потерь.

ВИДЕНИЕ ХРИСТА В УРАГАНЕ 12 ИЮЛЯ 2001 г.

Шел ураган на город темной славы,
Пластом ложилась каждая верста.
В разломе туч, над главами державы,
Я увидал иконный лик Христа.
Я грешник, и всего одно мгновенье
Он на меня со строгостью взирал.
Белесой мглой заволоклось виденье,
И ураган Москву переорал.
Не я — другой бредет по бездорожью,
И век ему свободы не видать.
Но строгость Божью с трепетом и дрожью
Он принимает, словно Благодать.

Еще один штрих к прозрению русского характера. Сколько говорено о терпеливости русского народа, и ругали его за это, и корили, и насмеялись. А это, может, вовсе и не терпение, а прозрение. Открылся лик Христа над всеми бедствиями и ужасами, и человек понимает, что это испытание, суровое испытание души Христом. Строг Бог, но он с тобой, кого испытует — того любит, значит, надо терпеть.

Как-то на семинаре Кузнецов признался, что его принимают за мистика, а он дитя своего времени. Времени, оторванного от веры. Возвращение — вот путь Кузнецова. Он возвращался к вере, возвращался как современный язычник. «Самое главное возвращение, — говорил он, — возвращение человеческой души. По священному писанию, мы здесь гости, наш дом на небе. Душа приходит, потом возвращается». Поразительно, но такое же отношение к вере было у Дмитрия Дудко, прошедшего лагеря и мучения, он не озлобился на советскую власть, а считал, что при советской власти истинная вера окрепла, выстояла, а вот сейчас, когда дана ей свобода, начинает угасать, заменяется показушной пустотой.

Кузнецов вернул из забвения своего отца, сам смог духовно возвратиться к Богу, но как же ученик? На наших семинарах его не было, хотя было много интересных ребят, но как-то не складывалась духовная близость, не было соприкосновений. Не знаю, для чего затеяли возносу со статьей Федора Черепанова «О воде мертвой и живой», зачем и кому понадобилось рядить Федора в страдания, а Кузнецова выставлять расчетливым самодуром, так все выглядит в статье В.Огрызко «Непрощенная дерзость». На самом деле все гораздо проще, сюжет настолько стар, что описан еще Евангелием. Федор и Павел Черепановы — казаки, участники боевых действий, им очень помогла Светлана Владимировна Молчанова, помог институт, дал возможность учиться, жить в Москве. Кузнецов ценил Федора, очень внимательно относился к его выступлениям, иногда спрашивал его мнение. Ему была интересна его судьба, он прощал ему и трудность, медлительность написания стихов, и пропуски занятий, помогал со стипендией. Но для Федора учителем

был и остался Евгений Курдаков, в то время он приезжал в Москву на ВЛК. Я как-то пригласила их всех к себе на пироги. Курдаков мне понравился, он много и интересно рассказывал о деревьях, знал каждое, потому что вырезал из дерева. Мне на память оставил пастушка. Пастух — образ поэта, пояснил он мне, а вот Юшину из «Молодой гвардии» я подарил бабу с вальком, ему как заведующему поэзией она нужнее». Стихи у него были хорошие, но не затрагивали во мне глубины, казались более риторическими.

Что или кто побудил Федора написать статью, не знаю. Но незадолго до этого встретила Федора, и он мне рассказал, что Кузнецов пожаловался как-то, что я была единственным человеком, который его понимал. Я обрадовалась, а потом расстроилась, ведь Кузнецов говорил это не для меня, он не знал, что я встречу Федора, что он мне это передаст. Он ведь говорил это для Феде, он просил понимания, отклика душевного просил. А получил «мертвой водицы» от дорогого ученика, как поцелуй. Статью Федора («Московский вестник» 1998, № 8, стр. 233 — указано в статье В. Огрызко) я не нашла, но по отрывкам, которые приводит Огрызко, получается полная ерунда. «Поэт не дал нам образцов любви, товарищества, он только показал тоску о них». Странно, о каких образцах любви говорит Федор? Отметая пошлую сторону вопроса, могу уверить, что все лекции Кузнецова — о любви к народу, родине, матери, отцу. Каких же образцов не хватило Федору, и, может, это опять беда не Кузнецова, а самого Черепанова, которого ожесточила, опалила война так, что, встретив его несколько лет спустя на конференции по творчеству Николая Тряпкина, я была потрясена его воинствующим догматизмом, где от православной веры и христианской любви остались одни слова. А Кузнецов очень по-теплому относился к ученикам, он никого не клеймил, всегда был готов помочь, его отношение было христианским и православным. Второй тезис, что Кузнецов — «записной консерватор», вообще не вяжется с образом Юрия Поликарповича. Он всегда был против догмы и консерватизма. Он уважал Пушкина, любил его стихи, часто цитировал, объясняя их ценность, но не мог согласиться с тезисом, что «Пушкин — наше все». Как тогда быть с Лермонтовым, Есениным, Тютчевым, которые вовсе не Пушкин, зачем так обрезать русское поэтическое пространство. Об отношении к науке — его «Атомная сказка», опять же далеко от консерватизма. То же отношение у него было к вере, он не мог принять догмата, только живая любовь к живому Христу, но ведь это путь русского народа, путь православия. Вячеслав Огрызко неточен в своих сведениях: и я, и Федор Черепанов учились на очном отделении Литературного института, а не на ВЛК, где учатся два года и никакого диплома не пишут. Также неестественны его выводы, где Кузнецов предстает неким расчетливым интриганом, который не ссорится с высшими, но наказует младшего. Чуть! Ни Сорокин, ни Гусев никак на учебу дочери Кузнецова в Литинституте повлиять не могли, да и Кузнецову нечего было с ними выяснять. Здесь отношения ученика и Учителя, и все! Для Кузнецова, как издревле для русичей, самым страшным грехом было предательство, перечтите его ад. Только поэтому он вывел Федора из семинара. Вся эта мышьяная возня стоила нескольких лет жизни Поэта, недаром слоны боятся мышей, нет никого мелочней, вьедливей и пакостней. Но Бог все видит. Напоследок Кузнецову был дан истинный ученик, который совершает подвиг, не давая пропасть наследию Кузнецова, собирает по крупичкам, проделывает титаническую работу, спасая от забвения главное. Это Евгений Богачков. Спасибо ему, низкий поклон! Поэтому все же Юрий Поликарпович — Победитель, он выстоял свою брань за русскую поэзию, он дал путь, дал возможность объединения. Во время прощания я положила на грудь ему белые розы, а к правой руке опустила кулончик с Георгием Победоносцем...